# PULLIN BULLING

# томъ двъсти свиъдисять пятый.

(годъ изданія сорокъ шистой)

1901.

онтябрь.

#### COLEPEAHIE:

	ДЫ, Повъсть. I—VII, А. В. ХЬ ВОЛОТАХЪ, Развазъ-	
III. BOB HA COBTS	НЕПРОЧНО И ЛОЖНО". О СУДЬВОЮ, Повъсть. 1—II. А	ranormopenia. II 🚣 💃
У. ДАВНО МИНУВЦ дътскіе міръ. П.	IEB. Отрывки изъ воспомина Мож кормилица. Камения Сотеркъ Яния Собо-Ногал	aid Abrersa. li Mad L. B Tumana.
AIT RSP SULHCOKE	В. А. ШТАКВНШНВЙДЕР ОРМАНОВЪ. VIII. Долина	ь. 1860—1861. гг. — 415 Ромедаля. В. Л.
іх вокино-поход Изанев	ныя впечатльнія. Вая	rie Коджоу. <b>E. E.</b>
X. HCHXOJOPH H XI. HPOBYZKJEHU M. T. Carrison	ОВЪ. (Окончаніе), А. Става изъ современной ж Стави первое и эторов. С	кани. Поселщается
ХИ. САРАЦИНЪ. В Иц. СИВСЬ.	L. A. Koi, P. H. Ten	odecas.
XIV. ВИБЛЮГРАФІЯ XV. НОВОСТИ ИНОС XVI СОВРЕМЕННАЯ	транной литературы.	(Con. 4-se comp. set. of 535 sources)
приложина	Brownessie ovensu	Additional of the Base

# ДАВНО МИНУВШЕЕ.

отрывки изъ воспоминаній дътства.

I

### Мой дътскій міръ.

Мит еще не было трехъ лътъ, когда мой отецъ скончался. Онъ быль человъкъ замъчательный своими душевными качествами и общирнымъ образованіемъ и оставиль среди многочисленныхъ своихъ друзей, сослуживцевъ и знакомыхъ самую свътлую, добрую память. По служов ему не везло. Кажется, онъ былъ слишкомъ "идеальныхъ" воззрвній человекъ. Довъряль онъ каждому и говариваль что лучше десять разъ быть обманутымъ чемъ одинъ разъ несправедливо отказать въ довърін. И бываль же онъ обмануть часто! Послъ его кончины мать моя осталась еще молодой, съ кучей детей на рукахъ н совершенно безъ средствъ. Впрочемъ, сестры мои были почти уже взрослыя девицы, когда я еще была ребенкомъ; братья умерли еще при жизни отца. Младшей изъ сестеръ моихъ было четырнадцать льть, когда я родилась. Въ семьв воспоминаніе объ умершемъ отців жило долго послів его смерти; кажется, семья только и жила этими воспоминаніями. Матьдолго была убита горемъ, я въ детстве часто видала ее плачущей. Мив казалось что въ домв царило всегда какое-то грустное настроеніе, торжественное; а, можеть - быть, мив только такъ казалось! По крайней мере, мое раннее детство въ моемъ воспоминании носить отпечатокъ грусти и торжественности. После кончины отца несколько леть подъ рядъ мы прожили безвывадно въ Покровскомъ, подмосковномъ имънін, оставшемся пость него матери.

Мив кажется что мною занимались мало мои сестры и мать, по крайней мврв, я почти вовсе не помню ихъ въ то время. Онв для меня какъ-будто не существовали; едва только кое-какія отрывочныя воспоминанія слегка касающіяся ихъ остались у меня. Зато постоянные разговоры объ отцв сохраняли представленіе о немъ живымъ и выпуклымъ въ моемъ двтскомъ умв, я часто и много о немъ думала, и личность его стала для меня какою-то особенно дорогою, любимою и вмвств немножко легендарной. Я думала что "папенька все могь сдвлать", все злое на сввтв победить, насъ всёхъ охранить отъ напастей; въ моей голов сложилось понятіе что въ домв при немъ все должно было быть иначе, конечно, лучше! Моя няня такъ часто говаривала, если чего не одобряла:

- При папенькъ, царство ему небесное! ужь, конечно, этого бы не было!

Часто въ сумерки я мечтала о томъ какъ это все было бы иначе "при папенькъ". "Въдь, пожалуй, даже лъстница, напримъръ, выходила бы наверху совсъмъ не въ дъвичью какъ теперь, а въ другомъ мъстъ! Какъ это было бы весело! Идешь, идешь, вдругъ дверь! Отворишь, а тутъ классная! Какъ смъшно!" А ужь грустнаго, несчастнаго, во всякомъ случать ничего произойти не могло. Разъ у моей куклы отломилась нога; я была въ большомъ горъ и показывая куклу сестръ, Машъ, сказала: "Еслибы папенька былъ живъ, не правда ли, этого случиться бы не могло?"

Воображение играло огромную роль въ моей жизни, не знаю у всехъ ли детей такъ. У меня не было подругъ, никакихъ дътей я не знала, взрослымъ было некогда много заниматься мною, поневоль я составила себь собственный міръ, окружила себя разными воображаемыми существами и живо върила въ ихъ дъйствительное существование. Невольный страхъ что больше могуть разрушить этоть міръ заставляль меня скрывать отъ нихъ все что рисовала моя фантазія. Сама я въ своемъ воображения была всегда однимъ и темъ же лицомъ: бедной вдовой, Авдотьей Степановной. У меня было шестеро дътей, и я съ трудомъ могла ихъ прокормить. Моя работа для поддержанія семьи состояла въ вышиванів тоненькой бичевочкой по решетке сиденія стула. Вставая утромъ я часто совершенно искренно вздыхала думая о томъ, сколько мит придется въ этотъ день работать для своихъ детей. Я такъ прилежно занималась своей неблагодарною работой что одинь разъ няня сказала при мив кому-то:

— Въдь какъ усердно шьеть по стулу, точно заказалъ

Эти слова были сказаны вполголоса, но я ихъ услыхала ей кто! и съ удивленіемъ посмотръла на няню: конечно, я трудилась э по заказу! У насъ, въ детской, было только два стула съ плетенымъ сиденіемъ; когда оба были "вышиты", приходилось распускать работу чтобы опять начинать сначала, и это инъ не нравилось, не довольно было похоже на "въ самомувлишную работу", и я объ этомъ сообщила нянъ; она меня научила илесть шнурокъ на рогулькъ, а маменька сказала что такой шнурокъ очень ей полезенъ, и что она будеть у меня его покупать и платить по копъйкъ за аршинъ. Съ этой минуты для меня открылся огромный интересъ!

— Куда же ты денешь деньги? спросила маменька.

Такъ какъ этотъ заработокъ былъ "въ самомделишный", то я уже не думала его употребить для прокориленія воображаемой семьи!

— Я отдавать буду "бабъ" своей, ръшила я.

Кормилицу свою я нъжно любила. И воть я стала такъ усердно плесть свой шнурокъ что няня безпрестанно старалась меня отвлечь оть него чтобы я не засиживалась надъ HHMP.

- Тенерь, няня, баба будеть ужь богата, вогда я ей отдамъ деньги? спрашивала я.
- Ну, хоть богата не будеть, ангель мой, а все же ей
- У нея изба старан, няня, она мив сказала, я ей запоможете! работаю на избу! Въдь, да, няня?
  - Ну, врядъ ли, голубушка!
  - Отчего? огорчилась я.
  - Много на избу денегь надо, вамъ и не заработать!
  - Я, няня, даже нять конвекъ заработаю! Маменька сказала.

И я съ удвоеннымъ усердіемъ принималась за шнурокъ, въ полной уверенности что очень скоро заработаю "бабъ" на избу.

Какъ-то разъ, въ порывъ откровенности, я разказала сестръ Сашъ про своихъ шестерыхъ дътей. Она слушала меня съ такимъ серіознымъ вниманіемъ, далала мив вопросы о моей семью съ такимъ сочувствіемъ что я была тронута и сообщила ей о своихъ работахъ подробно, о бользии моей дочери, о дурномъ поведения сына, но Саша въ тоть же вечеръ потеряла мое довъріе. Я услыхала что она разказывала о моей "семейней" жизни старшей сестръ. Она при этомъ не смъялась, но говорила безъ сочувствія къ моимъ дѣтямъ, удивляясь силъ моего воображенія и разсуждая о причинахъ его. Я была возмущена измѣной Саши. Черезъ нѣсколько дней она сочувственно спросила у меня о болѣзни моей дочери, я коротко и холодно отвѣтила ей что всѣ мои дѣти умерли и никогда болѣе не повѣряла ей своихъ тайнъ.

Кром'в этого вымысла было множество другихъ; каждый стуль въ детской или въ столовой где я тоже часто играла, быль извъстный мив домъ, каждая щель въ полу ръка или гора, и я никогда не забывала переходя черезъ ръку подбирать платье, безъ того достаточно короткое, чтобы не замочить его, или высоко поднимая ногу перешагнуть черезъ то что называла горой. Конечно игрушки, предметы окружавийе меня, всь были живыя существа. Вся моя воображаемая жизнь была для меня гораздо действительные самой действительности непонятной тогда для меня и не сохранившейся въ моей памяти. Люди, которыхъ я только-видела не имея съ ними личныхъ сношеній, казались мнв не живыми существами, а такъ въ родв необходимыхъ принадлежностей или декорацій въ жизни которыя "всегда были и всегда будуть". Такими не "настоящими" людьми были для меня некоторые изъ нашихъ дворовыхъ людей которые кланялись только издали и съ которыми я не была лично знакома, становой приставъ прівзжавшій въ большіе праздники поздравлять маменьку и сидівшій на самомъ кончикъ стула; чиновникъ изъ увзднаго города, Иванъ Тимоесевичъ, тоже по праздникамъ пріважавшій, почему то мив особенно ненавистный и не обращавшій на меня никакого вниманія, и еще нісколько другихъ.

Въ церкви у насъ, на клиросъ, подтягивалъ басомъ толстый Иванъ Минаичъ, содержатель постоялаго двора, онъ былъ для меня изъ числа "всегда бывшихъ" и, пожалуй, даже не изъ "настоящихъ"; я даже не отдавала себъ отчета существуетъ ли онъ спереди, такъ какъ знала его только спину, когда онъ стоялъ на клиросъ! И вотъ вдругъ сказали про Ивана Минаича что онъ очень боленъ, а черезъ нъсколько дней что онъ умеръ. Какъ могъ Иванъ Минаичъ забольть и умереть? Я ръшительно не могла себъ этого представить! Такъ, значитъ, онъ не только подтягивалъ басомъ, но вообще, "гдъ-то жилъ"? Значитъ, теперь онъ больше не будетъ пътъ на клиросъ: "Милосердія двери отверзи намъ", когда священникъ слишкомъ долго "не хочеть отворять двери", какъ и себъ воображала? Нътъ, не будетъ.

— Отчего, нана?

— Потому что его больше нать,

— Да въдь онъ всегда быль?

— Какъ это, душенька, всегда? спрашиваеть няня.

— Да такъ, няня, всю мою жизнь быль.

— Да твоей жизни-то только четыре съ половиной года, голубчикъ мой.

"Что жь изъ этого, подумалая, что четыре съ половиной

года? И всетаки это всегда!"

Я замолчала, но очень долго размышляла о томъ, какъ это странно что воть всезда быль и вдругь ивть! И добро бы еще кто-нибудь "настоящій", а то просто Иванъ Минанчъ! Послів этого, пожалуй, няня которая "живая", но тоже "всегда была", и ея вдругь не будеть? А церковь? И ея вдругь не будеть! Или даже меня самой! Какъ страшно, какъ ужасно страшно!

Со мной часто случалось думать, думать долго и додуматься до чего-нибудь ужаснаго, страшнаго! Все возможное и невозможное путалось въ моей головъ, потому что я совершенно не понимала что возможно и что невозможно, и я чувствовала себя окруженною не только огромнымъ, но даже враждебнымъ міромъ по своей силь въ сравненіи съ моей безпомощностію, и я начинала плакать, судорожно всхлипывая, и чтобы сочинить причину своимъ слезамъ или своему "капризу", какъ взрослые это называли, въ глазахъ няни или даже въ моихъ собственныхъ, такъ какъ истинной причины своего ужаса я не понимала, я придиралась къ какой-нибудь глупости и "капризничала" безпощадно. По случаю смерти Ивана Минаича я именно такъ раздумалась и такъ напугала самое себя что плакала, всилипывая, несколько часовъ подъ рядъ; этотъ "капризъ" быль одинъ изъ самыхъ крупныхъ которые остались въ моей памяти. Няня стала добиваться отъ меня, о чемъ я плачу, я отвътила, всклицывая: "Жалко Ивана Минаича!"

Помню, вечеромъ, укладывая меня спать, няня сама измученная монмъ припадкомъ слезъ сказала мнв все еще сердитымъ голосомъ:

— Ну, голубушка, сдалали вы нынче поминки Ивану

Минаичу! По вечерамъ няня скучала въ дътской и отправлялась съ чулкомъ посидъть въ дъвичью. Туть я была уже не въ воображаемомъ, а въ дъйствительномъ мірѣ мнѣ принадлежащемъ. Въ дъвичьей меня любили, забавляли и баловали. Дъвушекъ было много, человъкъ шесть; всъхъ я не помню, помню только своихъ любимицъ Аришу и Катю которую большей частію называли Катей Васильевной въ отличіе отъ другой Кати. Онъ были очень различны и по наружности, и по характеру. Няня не дозволяла открыто моей дружбы съ дъвушками, и если днемъ мнъ случалось вырвавшись изъ дътской очутиться въ дъвичьей, она брала меня за руку и приводя меня обратно въ дътскую строго говорила:

— Ну, что по дванчымъ ходите, голубушка! Не мъсто тамъ тебъ, ангелъ мой! Займитесь, Олинька, здъсь чъмъ-нибудь, будь умница!

А я думала: "почему же мив не мвсто тамъ? Гораздо лучше чвмъ здвсь въ скучной детской, гдв и самой няив скучно! А тамъ такая прелесть! Тамъ все что есть на светв веселаго!"

Когда же наставали сумерки, то подъ прикрытіемъ ихъ какъ-то допускалось многое что днемъ считалось противозаконнымъ. Тогда няня, какъ будто украдкой, уходила къ дъвушкамъ или съ чулкомъ, или такъ, потирая руки, пожимаясь и позъвывая, и подходя къ большой изразцовой печкъ, говорила:

— Пришла къ вамъ погръться, что-то озябла въ дътской. Я, конечно, шла за няней, и она меня не гнала прочь.

Ариша была красавица на мой взглядъ; полная, свъжая, румяная, какъ говорится: кровь съ молокомъ, и всегда веселая. Она безпрестанно смъялась особенно пріятнымъ, громкимъ, груднымъ голосомъ, показывая бълые ровные зубы; волосы у ней были совству темные, блестящіе, гладкіе, толстая коса низко приколота на затылкъ. Кажется, она и въ самомъ дълъ была красивая дъвушка. Я могла подолгу, сидя на скамеечкъ у ногъ Ариши, не спуская съ нея глазъ смотръть на ея милое лицо, даже когда она была занята работей и не занималась мною; она сознавала свое обаяніе и охотно поддавалась моему восхищенію.

— Мив некогда, говорила она со свойственной ей напускною ръзкостію которую я особенно любила, — некогда нынче съ вами балясы точить, сидите туть и глядите, пожалуй, на меня.

Я усаживалась и глядёла на нее. Ариша, какъ я думала, все умёла сдёлать, и такъ сдёлать какъ никто на свёте не сдёлаль бы:

Она разказывала такія сказки, удивительныя и страшныя! Еслибы кто изъ старшихъ слышаль эти сказки, навърное, запретиль бы ихъ, но няня ихъ не слышала, она въ это время дремала у печки, а другихъ никого въ давичьей не было, меня же онв приводили въ восторгъ. Она меня учила разнымъ фокусамъ съ картами, шила моимъ кукламъ платья и шляпы, выръзала мив разныя фигурки изъ бумаги, но особенно хорошо, по моему мивнію, она рисовала! Помню офицера съ необыкновенно длинными руками и пальцами, котораго она однажды нарисовала объявивъ мив что это мой женихъ. Ариша обвела "жениха" черной, нигдъ непрерывающейся чертой, безпрестанно смачиван карандашт во рту. Окончивъ рисунокъ, она сосчитала пальцы на объихъ рукахъ, и на лъвой оказалось ошибкой шесть пальцевъ! Въ моихъ ушахъ еще теперь звучить ея громкій сміхъ при этомъ открытіи! Мніз же было не до смъха! Я решительно не знала что делать съ такимъ несчастіемь? Куда дівать шестой палець? Но для Ариши даже такая бъда не могла составить затрудненія. Шестой палецъ тотчасъ же быль удлинень почти до черты означающей поль, у руки придълана нетля, и, къ моему величайшему удовольствію, я узнала шпагу! Но какъ держалась шпага въ растопыренной рукъ офицера? Это была для меня загадка. Сколько разъ я старалась удержать палочку растопыривъ пальцы такъ же какъ мой женихъ, но палочка выпадала.

Мив и въ голову не приходило объяснить себв это явленіе недостаткомъ рисунка, я приписывала его единственно

неподражаемой ловкости офицера!

Другая дввушка, Катя, развв только своей веселостію была похожа на Аришу, онв обв были душою "дввичьей" и первыми "затвиницами" во всемъ Покровскомъ. На святкахъ и на масляницв онв первыя затввали рядиться и выдумывали самые удивительные наряды. Катя была некрасива: смуглая, рябоватая; глаза у ней были маленькіе, какіе то изъ зелена сврые, точно полинялые, но очень живые; одвалась она непорядочно, во всемъ стояла ниже Ариши; я ее очень любила, но безъ того восторга который мив внушала Ариша. Отличительной чертой Кати было то что она безпрестанно кстати и некстати говорила самыя грубыя слова, даже въ видъ ласки; за это ей часто доставалось отъ старшихъ, въ особенности отъ ияни которая обыкновенно, загораживая рукой роть съ той стороны гдв я находилась въ эту минуту, говорила ей внолголоса:

— Ужь накажеть же тебя Богь когда - нибудь за эти слова, Катерина! Опять же маленькая тебя услыхать можеть!

И няня глазами указывала на меня.

Я цвинла въ Катв, главное, ея пвие. Она была "запввалой" въ Покровскомъ, когда въ летние праздничные вечера молодежь изъ дворни собиралась на лужайку возле скотнаго двора или возле кухни на скамейке, пока более молодые съ увлечениемъ играли въ бабки. Сидя за работой въ девичьей она постоянно пела или мурлыкала себе песню подъ носъ, если не бранилась.

Она вообще ни минуты не умѣла молчать; или она пѣла, или бранилась съ кѣмъ-нибудь изъ другихъ дѣвушекъ, увѣряя что у ней таскають иголки и нитки, или разговаривала сама съ собой.

— Ну, что ты, глупая, одна болтаешь? замъчала ей няня.

— Ну, какъ это одна! Софья Осиповна! обидъвшись отвъчала Катя, — развъ я дурочка какая что одна буду болтать! Я съ наперсткомъ, вотъ, говорила. Куда это онъ (такой-то!) дъвался.

И Катя чтобы всетаки не молчать начинала пъть. Голосъу ней быль не очень сильный, но пріятный и гибкій, она его
немножко сдавливала какъ наши деревенскія бабы; управляла
она имъ мастерски и всю душу свою выливала въ пъснъ.
Ръдко пъла она два раза сряду пъсню на одинъ ладъ; особенно нъкоторыя свои любимыя она смотря по своему настроенію измъняла какъ ей вздумается, придерживаясь только
въ общемъ обычнаго напъва; то ускоряла она темпъ, то задерживала, прибавляла самыя замысловатыя варіаціи которыхъ
потомъ повторить никогда не могла.

Я заслушивалась Катиныхъ пъсенъ такъ же какъ Аришиныхъ сказокъ, не знаю которую изъ нихъ я слушала съ большимъ наслажденіемъ. Сидя въ сумерки на своей низенькой скамеечкъ, я жадно ловила звуки Катинаго голоса, пока няня дремала на стулъ выронивъ чулокъ на кольна. Словъ пъсни я почти не могла уловить, Катя ихъ растягивала и выговаривала такъ неправильно что если на лету я и схватывала кое что, общій смысль ускользаль отъ меня, но это было тъмъ лучше, я въ это время думала свою думу. Вся дъвичья, большая изразцовая печка съ синими разводами и сама Катя мало по малу стущевывались въ надвигавшихся сумеркахъ, пъсня раздавалась все громче и яснъе въ моихъ ушахъ, то звучала какой-то неопредъленной и незнакомой мнъ тоской и жалобой, то вдругъ

удалая и свободная манила куда-то вдаль, куда-то на волю, на просторъ! Всё эти впечатленія я чрезвычайно ясно помню...

— А ну - ка! Коть - Ваську спой! восклицала я въ порывъ удали. "Коть-Васькой" я почему-то называла извъстную пъсню:

Въ селъ маломъ Ванька жилъ, Ванька Таньку полюбилъ!
Ой га-га га-га га-га!
Ванька Таньку полюбилъ!
Ванька, соколъ дорогой!
Ты мнъ пъсенку пропой!
Ой га-га га-га га-га!
Ванька дудочку беретъ
Танькъ пъсенку поетъ!

Катя пвла "Котъ-Ваську", а я пускалась плясать. Я выступала на средину дъвичьей, одной рукой подпершись въ бокъ, а другую руку держала надъ головой и выдълывала какіе-то медленныя, плавныя "па", поднявъ голову, изръдка только перевъняя руки и сдерживая дыханіе. Я иногда долго, болве получаса сряду плясала, куда-то мысленно уносясь и что-то воображая, забывая гдв я и что вокругь меня двлается; меня обдавало холодной дрожью, я уже переставала слышать голосъ Кати, въ девичьей делалось совершенно темно, а я все продолжала свою медленную, плавную пляску. Девушки оставивъ работу молча и притаивъ дыханіе толпились у двери, глядя на меня и боясь пом'вшать мнв. Онв понимали что мнв хорошо и что жестоко было бы тревожить меня въ эту миниту, а Катя все пъла... Но вотъ Ариша решала, наконецъ, что пора мив успокоиться, она безъ деремоніи брала меня на руки и поднявъ кверху целовала меня куда попало, въ волосы, въ глаза, въ шею, приговаривая:

— Будеть, моя красота, наплясались въ волюшку! Такая вы у насъ мастерица! Ишь въдь, мокрая совствить! Умаялась, ненаглядная моя!

Я обвивала руками шею Арини и, ужь забывъ о волшебномъ мір'в изъ котораго вырвала меня моя любимица, шептала ей на ухо:

→ Ариша, милая, попроси "Тетку" чтобы дала моченой брусники.

— Нельзя! У у! Боюсь! Тетка сердитая нынче! Подступиться нельзя!

"Теткой" прозвали дъвушки нашу экономку; она дъйствительно иъсколькимъ изъ нихъ, между прочимъ, именно Аришъ,

приходилась теткой, а другія звали ее такъ ужь кстати, заодно съ другими. Она была почти всегда не въ духъ и сердитая какъ всв экономки, но Ариша умъла подладиться къ ней и выпросить для меня какое-нибудь лакомство, чаще всего моченой брусники; она мнъ приносила ее на блюдечкъ, посыпанную сахаромъ, объясняя что угощаеть меня за то что я хорошо плясала, и стоя на коленахъ передо мной следила за мной пока я събдала бруснику.

Вечеромъ я пила чай у себя въ дътской, потомъ няня обыкновенно причесывала мнв волосы мокрою щеткой, а послв приглаживала ихъ еще объими руками чтобы глаже лежали, обдергивала платьице и панталончики и за руку сводила внизъ, "къ большимъ". Тамъ я заставала всего чаще такую картину: посреди большаго круглаго стола горъла лампа подъ бълымъ абажуромъ, вокругъ стола сидъли маменька и сестры, одна изъ нихъ читала вслухъ, другія работали, маменька большею частію вышивала тонкую "broderie anglaise" наметанную на клеенку; или двъ изъ сестеръ играли на фортепіано въ четыре руки. Я долго стояла возлів сестеръ и внимательно смотрела на ихъ руки быстро работающія по клавишамъ; меня занимало одно только движение рукъ ихъ, на звуки я почти не обращала внимачія, они ничего для меня не выражали, не то что Катины пъсни!

Простясь "съ большими" мы съ няней отправлялись наверхъ спать.

- Няня, а трудно играть въ четыре руки? спрашивала я усердно поднимаясь со ступени на ступень, что для коротенькихъ монхъ ногъ составляло не малую работу.
  - Трудно, душенька.
  - А когда я буду играть?
  - -- Когда выростешь большая.
  - А маленькіе не играють?
  - Гдв же маленькимъ играть!
  - Отчего, няня?
- У маленькихъ и ручки маленькія, и ножки не достануть, и понять трудно. Выростень, Богь дасть, большая, будешь играть.
  - И пойму?
  - И поймень.
  - Я, няня, все пойму когда выросту большая?
- Все поймешь, голубчикъ мой, отвъчаетъ ияня не равобравъ хорошенько что я спрашивала, и принимается уби-

рать дітскую на ночь. А я задумываюсь надъ тімь какъ должно быть хорошо "большимъ" что они есе понимають, а я маленькая ничего не понимаю и потому такъ все страшно!

Воть я номолилась, раздета, умыта и лежу въ беленькой постелькъ съ кисейными занавъсками. Няня покрыла и подоткнула меня простыней съ пикейнымъ одъяломъ, перекрестила, поцъловала и велить спать, а сама снявъ чепчикъ съ гладко причесанной совсемъ седой головы и перелинку, погасила свъчку, затепливъ лампаду передъ образами, и стала молиться. Мит не спится. Я слушаю какъ въ состаней комнать дввушки болгають шепотомь, слушаю ихъ сдержанный сивхъ; онв ужинають. Я чувствую запахъ щей которыя онв вдять и слышу постукиванье деревянныхъ ложекъ о края чашки. Слушаю какъ вътеръ гудить въ деревьяхъ и завываеть въ трубъ, и спрятавъ лицо въ подушку пробую подражать голосомъ завыванію вітра. Изрідка до меня доходить звукъ фортеніано снизу. Кругомъ меня все тихо и таинственно; въ дътской полумракъ. Лампадка теплится, едва освъщая образа въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ; въ стекла свчеть мелкій, осенній дождь. "А когда я буду большая", приходить мив опять въ голову, "наня сказала что я все пойму".

Лучи отъ свъта лампадки дълаются длиниыми и тонкими какъ иголки, когда я прищурю глаза; лучи скользять по головъ няни, на которой нътъ чепчика, а она шепчеть слова молитвъ, изръдка зъвая, кладетъ земные поклоны и потираетъ одна о другую жесткія старческія руки. "А что если это лучи—не лучи", приходитъ мнъ въ голову, "а мостъ отъ меня къ образамъ, и мнъ можно подняться и пойти по этому мосту?" Мнъ исно кажется что я поднялась и иду, съ трудомъ удерживая равновъсіе, но туть я плотнъе закрыла глаза, лучи исчезають, я падаю... вздрагиваю и открываю глаза! Няня все молится, шенчетъ, дождь сильнъе бъетъ въ стекла...

Я замечаю подъ столомъ свой большой мячикъ; онъ быль такой большой что когда лежалъ на полу доходиль мие до коленъ, я его едва могла обхватить обемии руками. Для меня онъ быль не мячикъ, а мой сынъ. Я хорошо знала его характеръ, его привычки. "А что", думаю я, "если я своего сына позову, подкатится ли онъ ко мие?" Мие самой страшно делается отъ этого иснытанія, но что-то заставляетъ меня попробовать непременно! Я наклоняюсь изъ кровати, протягиваю руку и пристально глядя на "сына" зову его! Сердце бъется

у меня отъ волненія! И что жь? Мнв ясно, совевиъ ясно кажется что мячикъ двинулся и подкатился поближе. Я громко вскриниваю и прома всемъ теломъ утыкаюсь лицомъ въ подушку. Няня въ испугв подходить ко мив, престить меня, гладить меня рукой и уговариваеть:

"Ну, что жь вы? Что съ тобой, Олечка? Господи помилуй! Дурной, върно, сонъ приснился. Ну, полно, ангелъ ной, накать". Но я судорожно всилинываю и вся дрожу, увърян няво что я вовсе не спала. Я прошу зажечь свъчку. Няня зажигаеть свычку, садится на стуль возлы моей кро-

ватки, и я понемногу начинаю успокавваться...

Долго еще я не могу заснуть, а няня все сванть возлы меня, держить меня за руку и сама дремлеть, бъдная старушка, низко опустивъ на грудь съдую голову. Я боюсь к подумать о томъ что со мной сейчасъ случилось? Мив теперь не видно "сына" за спиной няни, и мало-по-малу уснокоивнись я наконецъ засыпаю...

#### II.

## моя кориилица.

Сильная, горячая, восторженная была моя любовь къ "бабъ Афросиньъ . Аришей я восхищалась, и она какъ-то властвовала надо мною, но я и не помню когда эта любовь прошла, не помню даже какъ Ариша ушла изъ нашего дома выходя замужъ. Къ няна я была очень привизана, даже болве чемъ сама то сознавала. Няня была ко мнв добра, я не помню чтобы она когда-либо меня наказала; поворчить, бывало, только немножко, вотъ и все! Но няню я считала какъ-будто частью себя самой. Я, помню, редко говорила про себя въ единственномъ числъ. Какъ няня говорила: "Мы идемъ снать", когда я приходила прощаться съ маменкой и сестрами; "Мы сейчасъ будемъ купаться", когда готовила мив ванну; и я говорила про нянинаго мужа: "У насъ мужъ что-то сталъ плохо видъть! " или: "Мы нынче писали Гришть". Григорій быль нянинъ сынъ жившій въ Москвъ; онъ рано умеръ чахоткой. При такомъ представлении что все у меня съ няней общее, я даже не отдавала себъ отчета что я няню люблю; няня и я были

Но однажды няня отправилась къ Тронцъ-Сергію Богумолиться, и я чуть не забольла отъ горя въ ея отсутствіе; съ этихъ поръ я стала постоянно бояться какъ-нибудь нотерять няню, и когда на меня находиль "капризъ", всегда готовымъ предлогомъ было:

— Няня, не уходи отъ меня! Никогда не уходи, в то в

умру!

— Да нъть же, нъть, ангель мой! Я никуда не иду, съ чего вы взяли? Будь покойна, голубчикь мой!

- Я энаю что ты хочешь уйти, не уходи!-

Итакъ цвлый часъ сряду.

Но, пожалуй, сильные чыть любовь къ нянь, совсыть другаго рода, восторженная, сознательная страсть и дружба беззавътная была у меня къ кормилицъ. Я даже не любила никому говорить объ этомъ; это было какое-то священное для меня чувство. Я часто мечтала о "бабъ", лежа, не засыная въ кровати, или броди летомъ въ высокой, нескошенной травъ по лугу возлъ дома. Солнце пекло немилосердно, въ травъ трещали кузнечики; а путалась ногами въ нескоменномъ лугу, высокія травы хлестали мнв въ разгоръвшееся лицо, я съ наслаждениемъ вдыхала одуряющий, сильный запахъ "душицы" и "ночной красавицы" и сама себъ. шепотомъ, разказывала целыя исторін въ которыхъ Афросинья всегда играла главную роль. Баба жила въ деревив, верстахъ въ пятнадцати отъ насъ, и приходила очень ръдко, раза два, много три въ годъ, на одинъ день. Такія р'вдкія посъщенія, конечно, еще болье придавали ей цвны; но несмотря на то что я ее видала ръдко, я никогда ее не дичилась. Афросинья была высокая, статная и красивая женщина; чертами лица, пожалуй, не безупречной красоты, но выраженіемъ, необыкновенно кроткимъ, спокойнымъ и ласковымъ, лучше многихъ красавицъ. Мив не редко случалось встръчать среди нашихъ великорусскихъ крестьянокъ это величавое спокойствіе въ каждомъ движеній, плавное достоинство въ ръчахъ, въ поступи, въ поклонъ одной головой, но не въ одной изъ нихъ не было всего этого въ такой степени какъ у моей кормилицы. Во всей жизни ея выразились то же достоинство, кротость, смиренная, тихая покорность; наружность ея не была дъланая, искусственная, она была проявленіемъ внутреннихъ качествъ.

Афросинья была изъ Воспитательнаго Дома, вскорилена и воспитана старушкой вдовой Хрылихой жившей у насъ на

слободкъ, маленькой деревушкъ за церковью. Такихъ дътей изъ Воспитательнаго Дома подъ Москвой называють "шпитонкомъ". Бабушка Хрылиха жила въ крошечной "курной" избушкь въ два окошечка, совствъ покосившейся и вросшей однимъ бокомъ въ землю. У Хрылихи были и родныя две дочери, но она какъ и большей частью всв наши крестьине имъющіе воспитанниковъ не различала ни въ чемъ родныхъ дочерей отъ неродной; къ тому же Афросинья своимъ кроткимъ, ласковымъ нравомъ не могла не заслужить любви. Бабушка Хрылиха лечила оть всякихъ золь и болезней и, конечно, дътей принимала у всъхъ бабъ. Въ избушкъ ся я была всего одинъ разъ въ жизни, но хорошо ее помню. Это была крошечная комната, съ низкими полатями и огромной печью, совсемъ черная, законтелая отъ дыма, такъ какъ трубы не было, а когда тонилась печь занимавшая почти половину избенки, то отворялась дверь для выхода дыма. Съ инакихъ полатей свещивались разныя тряпки, по стенавъ кругомъ были узенькія скамейки тоже совершенно черныя и какъ-будто полированныя отъ долгаго употребленія; въ переднемъ углу несколько совсемъ почерневшихъ образовъ безъризъ, а передъ ними висъла мъдная лампада; полъ былъ глиняный; въ маленькія окна кое-где заткнутыя трянками вивсто выбитыхъ стеколъ можно было смотреть только нагнувшись, такъ они низко лежали на земль, да и вообще рослому человъку надо было вездъ нагибаться, и входя въ низкую дверь, переступая высовій порогь, и подъ полатями выпрямиться нельзя было; при томъ всюду, съ потолка, съ толстыхъ бревень, и на стенахъ, везде сплоть висели пучки разныхъ травъ которыя Хрылиха собирала весной на лугахъ и въ лесу для "пользованія" больныхъ. Оть сильнаго запаха этихъ травъ съ примъсью дыма, который никогда не проходилъ совершенно въ избушкъ, у непривычнаго человъка кружилась голова. И среди такой-то обстановки Хрылиха со свении дочерьми ухитрялась быть замъчательно чистоплотною! Среди этой обстановки росла и хорошела Афросины, а хорошела она такъ что на восемнадцатомъ году обратила на себя вниманіе богатаго купеческаго сына на большаго базарнаго села на шосе, въ двухъ верстахъ отъ Покровскаго.

Андрей Николаевичъ Самоквасовъ былъ сынъ бывшаго когда-то камердинера моего дъда. Самоквасовъ откупился на волю, приписался въ купечество и имълъ большую давку на самомъ шосе.

Андрей Николаевъ быль красивый, высокій молодой человъкъ съ окладистою русою бородой и голубыми глазами и могъ побъдить сердце любой дввушки, на него заглядывались и купеческія дочки, немудрено что Афросинья отвѣтнымъ чувствомъ откликнулась на его внимание. Ни разговоровъ, ни объясненій между ними не было никогда.

- Что вы! что вы, душенька! Развъ это можно! съ негодованіемъ отвінала мні баба когда я объ этомъ спро-

— Да ты его любила? Скажи правду, баба! ласкалась я желая вывъдать ея тайну (мив тогда было уже четырнадцать лъть и я вездъ страстно разыскивала "романы").

Афросинья отвернулась и упорно смотрѣла въ сторону, въ одну точку, перебирая пальцами кончикъ ситцеваго платка который быль надъть у ней на шев и скрещенъ на груди.

- Что ужь, душенька, объ этомъ говорить? Говорить не

стоить, грустно выговорила она.

Дъло въ томъ что Андрей Николаевъ посватался за нее, да "люди отговорили"; что была за причина этому не знаю. Почти тотчасъ же послъ того онъ женился на дочери лавочника изъ увзднаго города; а Афросинью отдали за мужика въ деревню отстоящую шестнадцать версть отъ нашего села. Этоть мужикь, Иванъ Фарафонычь, быль вдовый и бездетный, на пятнадцать лъть старше Афросиньи, маленькій, горбатый, почти уродъ; вдобавокъ онъ оказался горькимъ пьяницей. Каторжная жизнь началась для бъдной моей "бабы"! Къ бъдности она была привычна, но къ побоямъ отъ пьянаго мужа, къ жизни впроголодь съ цёлой кучей детей (у ней ихъ всъхъ народилось одиннадцать человъкъ!) не легко было привыкнуть! Среди такой, поистинь, ужасной жизни сложился у нея совершенно самостоятельный, цъльный, твердый характеръ. Молчаливая, тихая, покорная, даже близкимъ соседямъ она не жаловалась на свою горькую жизнь. "Твори Богъ волю свою! " были ея любимыя слова и выражали всю суть ен непоколебимой въры и смиренной покорности. Въра ея была совершенно неученая, она и грамоть не умъла, но твердая и горячая, и въ ней одной она почерпала всю силу и теривніе.

Иванъ Фарафонычъ былъ медникъ какъ и всё мужики ихъ деревни. Они работали мъдные чайники, кофейники и кубы для трактировъ въ Москву. Въ той же тесной избе где Афросиныя часто больла, гдв за низкой перегородкой роди-P. B. 1901. X.

лись и росли ея маленькія діти, почти день и ночь стояль гуль и стукъ оть молотковь; съ Иваномъ работало еще трое, братья его двоюродные; а воздухъ быль до того полонъ тончайшей мідной пыли что все въ избів, и одежда, и особенно овчина тулуповъ, все было покрыто зеленымъ налетомъ; подъ старость у Фарафоныча сідые волосы, жиденькая борода тоже были зеленоватые; даже въ глубокихъ морщинахъ около рта и носа лежалъ зеленоватый оттінокъ, онъ и въ бант не отмывался; въ такомъ видів, старый, горбатый, растрепанный, зеленый, онъ быль похожъ на какого-то колдуна, не даромъ его въ деревнів прозвали Кощеемъ-безсмертнымъ! А Афросинья до самой старости сохранила свою величавую, красивую наружность, полную достоинства...

Года четыре послѣ ея замужества пришлось ей пережить тяжелое искушеніе! Конечно, я слышала объ этомъ не отъ нея самой, мнѣ разказывала ея сестра много лѣть спустя, съ убѣдительной просьбой никогда Афросиньѣ не поминать объ этомъ.

Однимъ свётлымъ осеннимъ утромъ къ ея избё подкатила щегольская черная крашеная телёжка запряженная сытой вороной лошадью въ блестящей сбрув. Какъ разъ Фарафоныча не было дома, въ Москву товаръ повезъ, и "молодцы" всё поразбрелись, Афросинья была съ ребятами одна въ избъ.

— Сидить это она, голубушка моя, разказывала Акулина, -- сидить, этакъ на лавкъ шьеть, а сама зыбку качаеть, Полька у нея тогда двухивсячная была, Паранька съ Петькой около нея на полу играють, взглянула она въ окошко да такъ и обмерла! Андрей Николанчъ это подъвхалъ, Самоквасовъ-то! Куда бы мнв, говорить, схорониться отъ него, и не знаю! Такъ по избъ и заметалась. Да какъ схорониться? Онъ прямо дверь отворяеть, входить! Стою я, говорить, не помню какъ ему поклонилась, выхватила девочку изъ люльки, тв тоже ко мнв жмутся увидали чужаго мущину. А онъ входить, да красивый такой! Словно краше прежняго сталь. "Здраствуй, говорить, Афросинья Ивановна!" А я ему: здраствуйте, говорю, батюшка Андрей Николаичь. "Что, говорить, какъ живешь?" Слава Богу! говорю. А онъ, этакъ, глазами-то обвель кругомъ и покачаль головой, потомъ меня какъ уставится, глядить, глядить... Господи! Кажется провалилась бы я куда-нибудь съ его глазищъ! "А ты говорить, все такая же красавица, Афросиньюшка! Ничего хуже не стала! " Какъ онъ это выговориль, такъ мнв боязно стало, такъ стыдно, не знаю куда мив глядъть! А онъ все ближе

ко мив подходить. Не робкаго я десятка, это сестрица говорить, даромъ что молода была въ ту пору, ну, еслибы кто изъ нашихъ бы льзъ, я бы знала какъ съ нимъ говорить, онъ бы у меня, голубушка моя, скоро бы дверь-то къ выходу нашель, а съ этакимъ съ мущиной солиднымъ, сама не знаю какъ бы его не обидеть! А ближе подойдеть, думаю, что жь мив тогда двлать? Онъ видить, должно-быть, что ужъ очень я обробъла, будто отошель маленько, на лавку свяв. "Что, говорить, мужа-то твоего дома, что ли, нъту?" Въ Москву, говорю, увхалъ! "Мнъ бы, говоритъ, заказъ нужно ему сделать; да ты что жь, говорить, стоишь, не садишься? Или меня, гостя, принимать не хочешь?" А я: Какой вы мнв гость? говорю, да такъ резко это я ему. Сами знаете! Мнъ безъ мужа чужаго мущину принимать не гоже, народъ болтать станеть. Онъ засмвялся. "Ишь ты! говорить, какая гордая! А напрасно, ей Богу, напрасно! Я вижу у васъ дело-то не Богъ знаеть какое важное, вонъ и изба-то ужь на одинъ бокъ съла; обощлась бы ты со мною поласковъе, такъ это все бы дело можно поправить; мы бы во всякое время съ удовольствіемъ, и заказъ бы, для вида, сдълать можно, коли ты народа боншься, да мы бы и цену супротивъ другихъ можемъ платить получше." А самъ, душенька моя, словно всю меня прожигаеть, глазами-то своими. Я стою ни жива, ни мертва! Ну, думаю, кто въ избу заглянеть, ведь и въ самомъ деле что подумають! А подъ окошками и такъ ужь около телъжки сталъ народъ по маленьку сходиться. Собралась я съ духомъ: Никакъ говорю, ваша лошадь отвязалась, по улице побежала! Онъ головой покачаль, засм'вялся, "не можеть этого быть", говорить. Одначе самъ всталъ съ лавки. "Ну что жь" говорить, и самъ весь нобълълъ и брови сдвинулъ, даже ноздрями шевелить, сердитый такой сталь, "значить и отправляться, говорить, безъ всякаго оть васъ привета?" Благодаримъ покорно, говорю, на ласковомъ словъ, а если вамъ что заказать угодно, такъ пожалуйте когда хозяннъ дома. будетъ. Такъ онъ и отъвхалъ ни съ чемъ. И что жь вы, голубушка моя, думали? добавила Акулина, — такъ ее напугалъ этотъ случай; какъ онъ со двора, она какъ заревъла! Плакала, плакала, говорить, никакъ въ себя придти не можеть! А муженекъ - отъ ея, проклятый, какъ прівхаль домой, прослышаль про это самое, народъ ужь, известно какъ по-деревенски все знають! да какъ накинется на нее бить, больно биль ее!

- Это что жь? спросила я, и за что? Въдь она его выпроводила!
- Дура ты, баба, говорить, от счастія своего, говорить, отказалась! Ужь онъ ее! Ужь онъ ее! Около тебя бы, говорить, и мнв бы лучше было! Вёдь воть какой окаянный, право!
  - А Самоквасовъ больше не прівзжаль? спросила я.
- Прівзжаль, какъ же! И самъ прівзжаль, и засылалькъ ней.
  - Ну, что жь?
- Не на такую напаль! Меня, говорить, пущай старикъ коть до смерти убъеть, а я себя потерять не могу. Душадороже всего. А въдь воть какъ Господь-то! Туть вскоръ послъ этого, Богъ привель, ее взяли васъ кормить. На всюжизнь ей тогда счастие привадило.

Въ то время какъ Афросинья меня кормила и жила въдомъ почти годъ цълый, ее всъ у насъ любили. Веселость ея была такая тихая, ровный характеръ, со всъми ласковое обхожденіе.

- Няня, милая, ты любишь мою бабу? допрашивала я няню послъ каждаго посъщенія Афросиньи.
- Ее нельзя не любить, душенька; Афросинью гръхъ не любить, она баба смирная! говорила няня.
- Ты, няня, ее больше любишь чёмъ другихъ кормилицъ? приставала я.
  - Конечно, больше, ангелъ мой, она другимъ не чета.
  - Да, няня? Она особенная? А чемъ она, няня, особенная?
- Да такъ. всемъ, голубушка. Те простыя, деревенскія бабы.
  - А Афросинья, не деревенская? Она что? Какъ царица?
- Ну, хоть и не какъ царица, а такъ, много лучше другихъ, карахтеромо и манерой.

И я вполнъ довольная тъмъ что моя баба не похожа на другихъ, что она особенная, умолкала и принималась мечтать наединъ о своей страсти.

(Окончаніе слюдуеть).

Service of the servic

Кн. Е. Львова.